

* * *

Русский август цветом чёрен,
пахнет кровью и войной,
вылетает, словно чёртик,
из шкатулки потайной.

Грустно горбятся берёзы
и, сочувствуя земле,
горький дождик, будто слёзы,
тихо капает во мгле...

Этот месяц – образ часа,
когда грянет Страшный Суд!
Не случайно нас три Спаса
в это время берегут.

ДЕКАБРЬ

Замызганный, словно дикарь
иль воин, бежавший из плена,
дождливый московский декабрь
плетётся в грязи по колено.

И весь свой мучительный путь
он грезит с момента побега
о том, чтоб упасть и уснуть
в постели хрустящего снега.

Но тянутся тучи, темны,
дождями шурша над ночлегом.
И лишь воспалённые сны
заносит кружащимся снегом...

БЕРЕГ ОСЕНИ

Всё более яркой янтарною пенкой
сентябрь листву золотит день за днём.
Ещё один день – и вся гамма оттенков
на рощи и парки прольётся огнём!

Ночь скатится в тени, как в узкие щели,
и лес придорожный окажется вдруг
весь красным, как киноварь, где только ели
чернеют, войдя в этот огненный круг.

В семнадцатом веке вот так старoverы
в невянских иконах свой огненный дух
в багрянец и охру вливали без меры,
спаяв воедино восторг и испуг.

Ещё один день – и костром Аввакума
взовьются леса, унося в небеса
сгоревшие души берёз, что угрюмо
останутся мёрзнуть и ждать чуда.

Листок на ветру, как посланье в конверте,
помчит, вопрошая: «Доколе ж терпеть?» –
и высь отзовется: «До самая смерти...»
(А после – веками среди ангелов петь!)

Кончается в жизни любая дорога,
но надо ль грустить, что недолог был путь?
У Бога – небесных обителей много,
в любую входи и, как дома, в ней будь!

Ну, кто мы на дереве жизни? Не больше,
чем листья меж небом и голой землёй.
Нет силы смотреть с высоты нам и – Боже! –
нет силы подумать о встрече с зимой...

Как танки по полю, пугающим ромбом
тяжёлые тучи ползут в небесах.
И нет нам укрытия в мире огромном
под ветреной высью в холодных слезах.

Курлыча прощально, протяжно и громко,
косяк журавлей уплывает на юг.
У берега осени – хрупкая кромка,
опасно стоять у неё на краю.

Очнись! Не смотри в эти мокрые выси –
там холод и смерть, и ничто не спасёт
от ветра, что ловит багряные листья
и их, словно души, над миром несёт...

ЕВПАТОРИЙСКИЙ МОНОРИМ

Правду жизни учил не по Торе я,
а по пушкинским дивным стихам.
Это в них я прочёл, Евпатория,
про кораблик, что плыл по волнам.

Тот кораблик сегодня на море я
видел въяве – он мимо бежал.
Как он вырос с тех пор, Евпатория!
Как он с пушкинских дней возмужал!

Он летел мимо пляжей, которые
золотились песком из-под ив –
только вспененный след траекторией
перечёркивал синий залив.

И залив ли то? – консерватория! –
ветер ставит тут голос волнам,
чтобы слышала ты, Евпатория,
как в прибое поют они нам...

В мире нет такой амбулатории,
чтоб она, изучив нас за час,
словно пляжи твои, Евпатория,
выгоняла все хвори из нас.

И пускай вновь сорвусь на повторы я,
но я снова и снова скажу,
что и в дальнем краю, Евпатория,
я в мечтах на тех пляжах лежу.

...Солнца золото по акватории
растеклось, как расплавленный жир.
(Не смотри на него, Евпатория,
чтоб сберечь глаза окнам квартир!..)

Вспомню радость свою или горе я –
и искусство сольётся с судьбой.
Нет отзывчивей аудитории,
чем грохочущий «Браво!» прибор.

Время – мимо течёт. И история –
приглушает здесь свой голосок.
Солнце, море... Вдали – Евпатория...
Да утративший память песок...

* * *

В дальнорозковую россыпь прозрачных дворов,
где прохваченный инеем воздух колеблем
переключкой терзаемых течкой собак,
воробьиной, уже доходящей до драк,
суетой вокруг крошек случайного хлеба
да печальными «Горько!» венчальных пиров, –
уже входит предчувствие зимних ветров
и сиротских, до боли пустых вечеров
под беспомощным пологом скудного неба...

Я люблю этот дух чернозёмов трагичных.
Этот подлинный, не театрально-тряпичный,
а бревном на плече осязаемый мир.
Этот тысячелетний, эпично-страничный,
и доньне кормящий нас правдою миф,
для которого – так глубоко бесполезен
весь запас моих фраз, моих проз и поэзий!

Разве выскажешь этот простор за рекой?
Только – эхо висит над строкой...